

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

ТОСКА ПО
СМЕРТИ

Зинаида Николаевна Гиппиус

Тоска по смерти

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25905518

Аннотация

«В 1793 году, в Париже, пятого мая, выбросилась из окошка французская гражданка, девица Жанна Ферро, двадцати лет от роду. Она была единственной дочерью суконщика Ферро, семья которого никогда не терпела нужды. Отец принимал участие в партии монтаньяров, – партия эта тогда только еще приближалась к своему расцвету. Жанна и ее мать вели жизнь более спокойную, нежели многие в то время гражданки Парижа, никто из близких семейству не погиб еще в революционной буре, Жанна не имела никаких особых тревог, характером обладала веселым и открытым. Ее самоубийство было необъяснимо...»

Содержание

Зинаида Гиппиус

Тоска по смерти

В 1793 году, в Париже, пятого мая, выбросилась из окошка французская гражданка, девица Жанна Ферро, двадцати лет от роду. Она была единственной дочерью суконщика Ферро, семья которого никогда не терпела нужды. Отец принимал участие в партии монтаньяров, – партия эта тогда только еще приближалась к своему расцвету. Жанна и ее мать вели жизнь более спокойную, нежели многие в то время гражданки Парижа, никто из близких семейству не погиб еще в революционной буре, Жанна не имела никаких особых тревог, характером обладала веселым и открытым. Ее самоубийство было необъяснимо.

Когда ее внесли, умирающую, в дом, и мать, в ужасе, умоляла ее сказать, зачем она это сделала, – Жанна проговорила только: «je ne sais pas»¹... А через несколько времени, закрыв глаза, прошептала: «je suis heureuse»²... С тем и умерла.

Я думаю, она была искренна. Я думаю, многие из толпы непонятых, неизвестных самоубийц того времени могли бы ответить на вопрос о причине, толкнувшей их в смерть, только этими же словами: «я не знаю»... и «я счастлив». Их было много; может быть, столько же, за время Французской

¹ «я не знаю» (фр.).

² «я так счастлива» (фр.).

революции, сколько убитых и чужой рукою. А у нас, за последние страшные месяцы и дни России? Убивают себя дети, молодые девушки, офицеры. То здесь, то там проскальзывает краткое сообщение: «застрелился в поезде»... «отравилась по неизвестной причине» или «гимназистка пошла в детскую и выстрелила себе в грудь, ранена, на вопросы родителей не отвечает». Некоторые, правда, оставляют записки вроде: «слабым людям в такое время жить нельзя», – но разве и это, в сущности, не то же «не знаю» искренней Жанны Ферро, просто «не знаю... тоска... мне лучше умереть... хочется умереть»?

Самоубийцы погибают безвестнее и глуше, одиноко, у них нет имен. Но эти самоубийцы такие же революционеры, как и те, кто погиб среди толпы, в жаркой схватке двух разъяренных партий. Как и те, кто мужественно встретил казнь. И те, и другие, по неизвестной им самим причине, влеклись к смерти, втайне; только убиваемым казалось, что они умирают для чего-то; а у самоубийц этого призрака не было, они откровенно хотели умереть потому что, хотя почему именно – не знали. Счастливы же смертью были те и другие одинаково.

Эта любовь к смерти, влечение к смерти, так явно всплывающие во времена крупных общественных переворотов, кажется странной. Мы привыкли думать, что в те эпохи истории, когда выступает вперед сила человеческой общности – жизнь делается необыкновенно яркой, события бегут,

действия совершаются, ощущение жизни, именно жизни, ее реальности, – удваивается, удесятеряется... Вечная правда, по страшная, потому что она тотчас же, незаметно, переходит в роковую ошибку. Удвоенная, утроенная жизнь тотчас же, неуловимым переходом каким-то, в следующее же мгновение, переходит в смерть, и длится, продолжается уже не жизнь, а смерть. Жизнь, с момента, когда сила человеческой общности начинает заслонять от каждого все, что не она, поглощать человека, делая его частью, куском человечества народа, – жизнь, как реальное ощущение, бледнеет, стирается. Реальной и пленительной своей реальностью, своим истинным бытием, – остается одна смерть. Ее, а не жизнь, чувствует, как единую действительность, тело и душа каждого человека.

Так просто: мы забываем, что для того, чтобы была жизнь – необходимо, чтоб был человек. Человек сначала (первое необходимое условие) – человечество потом (второе условие, такое же необходимое, но второе, и вытекающее из первого, как следствие из причины). Может быть, слова «сначала» и «потом» – не совсем точны тут, как слишком определяющие время. Вопрос «личности» и «общественности» не разрешается вполне – для нашего сознания – в области только временно-пространственной, только логически или математически. Пример образный, давая понятие, тоже не будет исчерпывающим. Но я все-таки сказал бы, что для того, чтоб был свет (жизнь) – нужно, чтоб было солнце и лучи, от него

исходящие. Солнце сначала, сперва, как первое необходимое условие, а от него лучи, идущие во вне, и во вне свет. Но, конечно, как мы не можем представить себе солнце без лучей ни на единое мгновение времени (или солнце с лучами без света) – также и личность, человека, никогда не представим без человечества, без общественности. Всегда все, во все времена, вместе – и все-таки ясно, что от чего: жизнь от лучей и от солнца, а не наоборот. Насколько ярко и горячо солнце – настолько ярко и светел свет. Чуть зарождавшаяся личность, бессознательная, даже как слепое самоощущение – давала и соответственный свет, соответственную общественную жизнь. (Говорю, конечно, вообще о росте личности в историческом процессе, движении вперед самоощущения и самосознания.) Если начнет меркнуть солнце – может, пожалуй, показаться на одно мгновение, что свет вспыхнул ярче, – но света не удержать, он иссякает, уходит, жизнь, как жизнь – должна замереть.

Возвращаясь к арифметике, для пояснения нашей мысли с другой стороны, – мы скажем, что и тут она проста: начиная счет – не должны ли мы поставить на первое место, сначала, – один, затем уже 2, 3, 4, 5 и так далее? И все последующие числа не сохраняют ли свое значение, не существуют ли только при условии существования первого – единицы?

Эта единица – человек. Только при сохранении человека, единицы, при самой реальной, – (и соответствующей данному моменту истории) – жизни этой единицы – осуществля-

ется, реализуется жизнь множества, истинная общественная жизнь. Теряя личность, свою отличность от массы – человек теряет и всякую жизнь, как реальное ощущение, как движение.

Если мы не признаем этого – мы легко можем дойти до всевозможных абсурдов, до противоестественных сочетаний слов, каковы, например: смертельная жизнь, живая смерть, безличное бессмертие... «Безличное бессмертие», которое, между прочим, проповедует нам Л. Толстой, – не слова ли это без значения, не звук ли без всякого намека на смысл?

Итак, личность и общность, неопределимо и несомненно связанные, обе одинаково обуславливают жизнь, если между ними сохранено какое-то равновесие, гармония. Ясно, что от чего, что первое, – но ясно также, что если бы стала умирать общность, – остановилось бы и развитие личности, жизнь бы точно так же начала уходить. Периоды уклона к чрезмерной субъективизации тоже отмечены тоской по смерти, хотя и в несколько иной форме. К этому последнему уклону относится и буржуазный строй жизни, буржуазно-семейственный, мелкая ячейка, своя, – карикатура, извращение начала личности, как единого, неразложимого абсолюта.

Конечно, личность, а равно и общность, никогда окончательно не умирали. Умереть, исчезнуть они могут только обе. Двигательной силой, причиной первой, точкой исхода – остается все-таки личность; она, делая шаг вперед, стремится создать соответственную и соответствующую ей общ-

ность, творит условия жизни, предreshает общественные перевороты. И среди этого постоянного творчества есть моменты полной сгармонированности, соответствия обоим начал, полнота жизни.

Только моменты, а затем в главном русле истории продолжается ее правильный ход – душа человека идет вперед, творя опять и опять душу человечества, а мелкие ручейки, отбегая в стороны, иссякают.

Чрезмерно длящийся перевес общественных интересов над жизнью личности – затирает последнюю, медленно убивает ее, а с нею и жизнь, ее реальное ощущение. Душа человечества, разрастаясь, становясь на первое место, съедает душу человека. И все не только готово остановиться, как останавливается при уклоне к началу личному, – но готово даже пойти назад – полететь к черту.

И полетело бы, конечно, в один из таких моментов, если бы история была стройным механическим процессом, если бы могла вписаться в логику. Если бы русло истории, главное, было единственным и цельным, если бы не разливался этот водоскат мелкими ручьями, не отдавал бы попутно лишнего стоячим прудам и болотам. Уклонившиеся, попавшие на разбивающий камень остаются, а поток мчится дальше, по своему пути, к своему морю. История не вмещается в логику; но логика вмещается в историю. Логика, восстающая на нее, не умеющая соединить свои законы хоть с частью законов истории, т. е. не видящая в ходе истории и себя –

конечно, не истинная логика. Истинная же, между прочим, всегда скромна и не стремится быть мирообъемлющей. Мы знаем, действительно, кое-что лишь тогда, когда знаем, что есть нечто, чего знать мы не можем.

Современники затянувшихся общественных переворотов и даже создатели их – переставая расти в личности – перестают жить.

В последнем, бессознательном клочке личности – горит у каждого бессознательная тоска – по смерти. Умереть можно «самому, одному», смерть – несомненно мое, личное проявление.

И, ослабев, иссякнув для жизни – личность тянется к своему последнему здешнему проявлению – к смерти. Мужество, с которым все общественные деятели всех революций шли на смерть и принимали ее, все, без различия партий, все, храбрые и трусы, большие и малые, – в значительной степени объясняется этим тайным, глубоким, искренно бессознательным к ней влечением, реальным, близким ощущением единственно ее пленительности.

Тоска по смерти заражает всех, делается воздухом, которым дышит каждый. Жанна Ферро, которая, может быть, и не понимала ничего и, наверно, не принимала никакого активного участия в борьбе монтаньяров с жирондистами, а только дышала этой атмосферой – умерла; и умирая, «была счастлива». Также «счастлив» был, вероятно, и ее отец, если ему выпало на долю заколоть себя кинжалом при объявле-

нии смертной казни.

Это один из самых ярких признаков безумия, заражающего, повального – неудержимое тяготение к смерти. Любовь к смерти, влюбленность в смерть, в эту последнюю реальность. Смерть перестает поражать, удивлять, как она всегда удивляет, – каждый раз – живых. Она становится близкой, ею дышат, как воздухом. Она нужна все время, непрерывно, как живому нужна жизнь. Переменяются представления, перемещаются центры, естественное кажется неестественным, неразумное разумным, пьяное трезвым; и наступает безумие. Своя, чужая смерть – все равно, только бы смерть, смерть!

Чем в более раннюю эпоху истории мы заглянем, тем более яркий и грубый вихрь смерти увидим мы во времена общественных переворотов. То есть, чем ниже был средний уровень развития личности, самосознания каждого, чем слабее была личность и скорее затиралась она разросшейся чрезмерно общественной волной – тем неистовее бушевала смерть. Страшнее было общее безумие. И если будущее действительно принадлежит культуре и правде развития личности – мы несомненно увидим народы, без единой капли крови переживающие революции столь же великие, какую была Французская, столь же коренные, как ныне русская.

Но до этого еще далеко. Первая русская революция, постигшая страну, задавленную издавна в своем росте, не успевшую скопить никаких культурных богатств, почти во-

все не имеющую твердого, личного самосознания, – эта революция уже переливается всеми цветами смертельного безумия. Разве жизнь, своя и чужая, не потеряла в глазах каждого всякую ценность?

Смерть – у нас единое доказательство, смерть – единое возражение, единое орудие, единая награда, единая угроза, единое наказание. Смерть стала все, и стала необыкновенно простой и близкой. Незаметно превратилась, превращается, в единственную осязаемую действительность. Из события сделалась каким-то противоестественным, отвратительным для всякого уцелевшего от заразы, бытом. Без мысли и без остановки смерть накладывается на смерть, труп ложится на труп, гора растет, и нет никакой причины оставить верхний труп незакрытым еще одним, новым. Луженовский убил мужика; Спиридонова убила Луженовского; Аврамов и Жданов убили Спиридонову, труп которой «помилован»; и, наконец, Аврамов и Жданов тоже убиты.

На каждой пяди земли растет, все растет вверх такая трупная горка. Все давно забыли, что убивают для чего-то, даже почти забыли, что убивают за что-то; просто себе убивают. Стоит одна смерть перед глазами, как царица, ну и покоряются, убивают, самоубиваются, умирают. Газеты жалобными голосами что-то пищат – до слов ли тут? Кто что слышит, кто что понимает? Есть ли возможность мысли, когда дело дошло до рукопашной, красные мальчики в глазах, и у обоих противников жажда победы давно подменилась просто жаж-

дой смерти, чужой и своей?

Даже те, кто не убивают сами и не умирают, заражены, в громадном большинстве, безумием бессмысленного разрушения. И у них гаснет мысль, теряется слово, клонится голова. Пусть просто летит все к черту, хотя бы и они сами полетели вместе. Все равно!

Они, вероятно, и полетят. Уцелеют те, для кого сила нынешнего общественного взрыва не больше силы крепости их личного начала, не слишком перевешивает, не убьет и не затрет их внутреннего самосознания. Они, может быть, и будут создателями иной жизни, следующей ее полосы. Но трудно им, трудно! Истинно прекрасные здания не могут строиться на вчерашних костях. Это глубокая ошибка сознания. Трупы, горы трупов, мешают, заваливают землю, на долгое время заражают воздух, застилают свет. Толпы людей, павших в безумии смерти, убивавших и убитых, не делают историю – а мешают ее стройному ходу, задерживают – а не ускоряют приближение светлого освобождения мира. Не смертью человеческой, а жизнью завоевывается жизнь.

Впрочем – наше ли дело знать времена и сроки? Если это еще есть, это бушующее безумие смерти, значит это еще было нужно. Но, не судя о временах и сроках, принимая все, уже случившееся, как уже лежащее вне нашей воли, – мы все-таки не можем, по человечеству, не ждать и не надеяться, каждую минуту, что предыдущая была последней. Что та, которая идет, светлее. Что в ней меньше смертельной отравы,

что хоть чуть-чуть разорвутся тучи на краю черных небес. И не только ждать и надеяться – но мы не можем не идти вперед, не стремиться к созданию этого нового времени, – всеми силами, человеческими и не человеческими, и всеми средствами, но только истинными, действительно действенными. Ибо какова цель, таковы и средства. А цель наша – жизнь.